

**Сергей Николаевич Сергеев-
Ценский**

Бабаев

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Бабаев / Сергей Николаевич Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 154 с.

ISBN 978-5-4241-1786-2

Можно было забыть на время, можно было о чем-то мечтать, чему-то радоваться и удивляться, но это было линейнее, как краски на воде: краски загораются, борются, гаснут, а вода под ними внизу остается одна и та же – черная для всех извилин дна, плотная, немая.

Стоило только вслушаться, и из глаз выпадала радость и смешно было чему-то удивляться. Тишина утр вливалась в шумливую сутолоку дней так широко и прочно, как будто не было никакой разницы между шумом и тишиною.

Вырастала уходящая вниз длинная лестница из дней, о которых никак нельзя было сказать: «Прожиты»...

ISBN 978-5-4241-1786-2

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей
Бабаев

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Бабаев
Роман
СНЕЖНОЕ ПОЛЕ

I

Из окон комнаты, в которой жил поручик Бабаев, были видны неровно закутаные в мягкий снег кусты шиповника, серый забор с полосами снега вдоль досок и синие тени на снегу. Когда он взглядывал в окно и тут же отводил глаза, то ярко стлалось перед ним ослепительно белое с извилистой синевой и стояло долго и нагло, широко раздвинув стены.

А когда он вслушивался, чуткий, то казалось, что далеко где-то скучный кто-то раскачал очень длинную и очень тонкую узкую полоску стали. Полоски этой не было видно; но мимо медленно ползли душные звуки качаний, похожие на змеинные кольца.

Можно было забытья на время, можно было о чем-то мечтать, чему-то радоваться и удивляться, но это было линейнее, как краски на воде: краски загораются, борются, гаснут, а вода под ними внизу остается одна и та же черная для всех извилин дна, плотная, немая.

Стоило только вслушаться, и из глаз выпадала радость и смешно было чему-то удивляться. Тишина утр вливалась в шумливую сутолоку дней так широко и прочно, как будто не было никакой разницы между шумом и тишиною.

Вырастала уходящая вниз длинная лестница из дней, о которых никак нельзя было сказать: "Прожиты". Они "проходили" вблизи, чуть задевая за плечи, и по ночам, когда мигала свечка, отчетливо видно было: зигзагом шли все одинаковые, плоские ступени, и опускалась на шаг вниз новая, такая же гладкая ступень.

Чуть слышно гнусаво тикали под подушкой карманные часы, точно служили панихиды по дню, который мог бы быть, но ничем не был отмечен, как вымытый начисто литографский камень.

Хотелось встать и смеяться - долго, громко, злобно, но на рождавшийся смех вскакивала маленькая холодная мысль: "А завтра будет тоже такой же день!" Холодная мысль, противная, как цинический хохот, озиралась кругом, ища новых дней, и медленно добавляла: "И послезавтра!"

Между лопаток от шеи ползла мелкая дрожь.

Над самыми окнами повис ряд сизых рубчатых сосулес, тускло глядевших в комнату. Дул ветер временами, и под ним, тяжелым, жалобно плакали ставни.

II

Доктор жил в доме напротив, стриженный, низенький старик с длинными ушами. По утрам он выходил на балкон и, обернувшись к востоку, читал по книжечке молитвы. Черный сеттер Бабаева, Нарцис, на него лаял. Лаял вяло: ударит несколько раз в широкий колокол пасти и отойдет, зевая, - привыкал уже.

Сапожник Безверхий гонял голубей сбоку за сараем. Видно было только грязную тряпицу на шесте, влажную на сухом небе, да белые блестки крыльев. Его свист в два пальца тоже был виден: круглый, извилистый, длинный и острый на конце, как кнут. Гонялся за турманами в небе, жалил, не давал покоя; и, бросаясь от него стремглав, они кувырком падали вниз, вздыбив перья.

Хозяин дома, псаломщик, за тонкой стеною пел ирмосы и подыгрывал на

дрянной скрипке. Сплетались два голоса: низкий и плоский, тонкий и визгливый, и выходило у обоих: "Коня и всадника вверже в мо-о-ре!" Звуки пахли чем-то - свечами, ладаном, - и хотелось отворить окно.

От дома к кухне, где помешался денщик Гудков, и от кухни в дом проходила по двору животом вперед беременная жена псаломщика - пестрый платок на голове, а лицо молодое, виноватое, серое, в желтых пятнах.

Иногда слышно было, как вздорил с нею Гудков:

- Что, удостоверилась?.. Юстрицы у тебя под носом воют!..

- Да ты что это со мною так обращаешься, болван?

- А што ж ты, барыня?.. Хоть бы што-нибудь, хоть бы как, а то ништо, никак...

Таких барынь-то - пруды пруди!..

- Холуй ты этакий!

- Я-то на коленках черта обогнал, обо мне не думай!.. Почистище вашего жили.

Бабаев отворял форточку и кричал:

- Ты что это там, негодяй, скотина!.. Я тебе дам! - Потом думал о высоком животом псаломщицы, становилось противно - одевался и уходил из дома.

III

В офицерском собрании играли в "дурака с Наполеоном". Было четырнадцать рангов дурака, пять колен Наполеона и Наполеон. Играла канцелярия полка: заведующий хозяйством, казначей, два адъютанта. Нужно было двадцать раз оставить дураком кого-нибудь одного. Этот один становился Наполеоном. Сделать это было трудно: начали играть в сентябре, теперь шел декабрь - не могли кончить.

В соседней комнате играли в макао. Игра была шумная, злобная, радостная. Много курили и пили пива, противно бросали на стол деньги, ругались.

Двое завсегдаев билльярдной - капитан Балеев и поручик князь Мачутадзе - разбивали пирамиду за пирамидой. Кто-то сказал о них с чувством: "Спят на билльярде!", вышло смешно, но низкий потолок над зеленым сукном не улыбнулся.

В читальне одинокий капельмейстер, престарелый чех, которого больно хлопали по плечу и ласково звали "капельдудкой", сидел за газетами.

"Рота, смирно!.." Каждый день он слышал эту команду. Когда входил в казарму он, для него кричал это фельдфебель Лось; когда входил ротный, для него кричал это он, Бабаев. И было такое правило дисциплины, чтобы по этой команде каменели люди: вздергивались головы, выскакивали из орбит глаза, застывали руки в рукавах одинаковых мундиров - точно на всех сразу брызгали мертвой водой или дули особым газом, напитанным микробами столбняка. С ними здоровались всегда одними и теми же словами, и всегда одними и теми же словами должны были отвечать они. Никто и никогда не ждал от них других слов, как, берясь за ручку звонка, никто не ждет сонаты или молитвы. Потом нажимали на них, как на клавиши, звуками команд, и никто не ждал, что они сделают что-нибудь не то, что должны были сделать по уставу. И лица у всех казались одним, непомерно вытянутым в стороны тупым лицом.

Казарма была огромная, оконстая - тысяча пудов над головой. В толстые стены всосалось насилие, и чудилось, что это оно выступает на штукатурке в пятнах плесени.

А за казармой шел широкий плац, утоптаный шагавшими под барабан но-

гами.

Он тоже казался казармой, только выше, светлее. Небо лениво висело над ним, как синий потолок, и давило.

И когда на земле громко кричали: "Раз!" - небо отзывалось: "Два!"

IV

Были сумерки, когда окна красны.

Хлопали ставнями; снег хрустел под ногами. На тротуар с деревьев падал иней.

Бабаев остановился, подумал: "Не стоит заходить... зачем?" Но в освещенном окне мелькнула знакомая прическа, и он вошел.

Когда раздевался в прихожей и смотрел на частые медные крючки вешалки, то тоже думал: "Притаился, а зачем? Что за глупость!"

Лидочка Канелли была одна. Куда-то на карты ушел ее отец, отставной подполковник. Если бы он был здесь, то хохотал бы, ерзя красным лицом, рассказывал бы одни и те же анекдоты, пил бы водку.

Лидочка села за пианино, играла что-то. Он не слушал - что, смотрел на ее профиль и думал: "Вот эта линия, которой никогда не было раньше и которая никогда больше не повторится; через полгода, может быть, через месяц, может быть, завтра даже, это будет совсем другая линия, непременно скучная и тупая".

Бабаев чувствовал, что если он что-нибудь любил теперь, то любил он именно эту тонкую линию профиля, прядку волос над лбом, матовую кожу лица. Но почему-то смешно было сказать это даже самому себе отчетливо и просто.

Ждала мужа - ждала трогательно и нежно, это видел Бабаев. Не играла, искала чего-то на клавишах - какую-то старую тропинку к алтарю и детской.

Еще несколько человек молодежи: два студента, военные, один чиновник, запросто бывали в доме. Каждого хотела понять, с каждым говорила особо то о музыке, то о театре, то о курсах; с военными ребячилась, играла в почту, хохотала. Бабаева не могла разглядеть: что-то притаилось темное; шла к нему ощупью - это чувствовал он; то становилась мечтательной, странной, то говорливой, веселой, то вдруг, проходя, касалась его выпуклой грудью и лукаво извинялась краснея.

Звуки зыбкие, матовые. Бегут куда-то один за другим - нельзя связать. Фикус в углу; свесил глянцевиные листья, как уши; слушает.

Представляется почему-то вечер - такой далекий! Сколько лет ему тогда было - пять, шесть?.. У березок листочки совсем маленькие, продувные, желтые, земля лиловая от сумерек, и жуки... ж-ж-ж... Везде майские жуки... кажется, что просто воздух жужжит, так их много и так от них весело... А у няньки Мавруши на голове красный платок, и она сидит под березкой, чулок вяжет... Отбежишь, глянешь издали - совсем как большой гриб сыроежка.

Бабаев сидит против зеркала, и ему видно в нем свое лицо. Иногда оно кажется ему отвратительным, иногда красивым - худое, темноволосое, с высокими бровями. А рядом и в зеркале такой тонкий, немного чувственный ее профиль и поспешно завитые каштановые пряди волос над белым лбом.

Бросает пухлые пальцы на клавиши. Звуки прыгают, сплетаются, дрожат, как ценное кружево, вдруг разрываются крикливым аккордом и опять сплетаются и

дрожат.

Хочется сказать ей: "Зачем это все? Будет. Не надо больше!" Но она уже понимает, чуткая... Еще два резких аккорда, потом дробный перебор клавишей. Вот она откинула голову, повернулась к нему, шепотком спросила: "Довольно?" Мигает глазами, улыбается. Когда улыбается, то лицо становится совсем мягким, пушистым, точно сделано из одуванчиков... Потом вдруг скучнеет, сжимается, восковеет, залегают складки над переносьем.

- Зла, как сорок тысяч ос! - говорит она, подымаясь, смотрит на него тяжело и неподвижно, как смотрят змеи. - Ведь могла уехать на курсы этой осенью... поймите - год потерян! В Петербурге теперь... электричество... улицы синие... народу - бездна!.. Мчалась бы с какой-нибудь Голубиной книгой под мышкой... а там сходки, споры... Ведь жизнь-то какая, - поймите!

На глаза ее, карие, с желтыми блестками, медленно просачиваются слезы.

Но Бабаеву самому странно, почему ее не жаль, почему хочется ее злить, смеяться над нею.

- На что вам курсы? - спрашивает он едко, закуривая папиросу.

От папиросы вьется дым, и в дыму скрывается она на миг, потом выступает.

- На что курсы? - повторяет он. - Ведь это вы так себе все... зря. - Он старается говорить лениво, обрубленными словами и наблюдает ее искоса, скривив губы. - Курсы... книжки... музыка... туалета-то сколько! - Думает в то же время: "Грубо! Зачем?" - но остановиться не может. - Фанты... хохот... томные взгляды...

- Сергей Ильич!

Она среднего роста, немного полная, и оттого к ней не идет жест возмущения, как идет он к женщинам высоким и стройным. Бабаев живо представляет себе высокую, стройную, с откинутой правой рукой, и Лидочка кажется ему модисткой, от которой не берут плохо сделанного платья, а она силится доказать, что сделано по журналу.

- Сергей Ильич! Не смейте!

- Учиться вам уже нечему, все знаете, - пропускает сквозь дым Бабаев, а выйти замуж только в таких гиблых местах и можно. Думаете, - отчего женятся? Женятся от скуки, поверьте. На курсах не выйдете, там не скучают... некогда скучать.

Он говорит тяжело и жестко. Ему кажется, что сейчас она сорвется с места, затопает ногами, упадет... что с нею будет истерика. Но она подходит к нему вплотную - горячая, выпуклая, - берет его за погон рукою и говорит неожиданно тихо:

- Ведь вам же скучно... Ведь вот вам же скучно... Ну, отчего вы не женитесь?

Глаза у нее теперь хорошие, простые, сквозные, как у очень маленькой девочки. Смотрят из-под мягких бровей прямо в его глаза. И две завитых прядки волос над ними тоже, кажется, глядят, просто, чуть-чуть стыдливо.

Здоровое, просящее ласки тело всего в двух вершках от Бабаева за каким-то простеньким сиреневым платьем с кружевами.

И никого нет в комнате, кроме трех белых кошек - Милки, Муньки и Мурки: спят все три рядом на старом диване.

- Ведь вы же не... пустынный? Вам нужна женщина... - говорит она, опустив

глаза. - Почему же у вас непременно должна быть женщина с улицы... грязная... фи!.. больная... захватанная.

Ему странно, что она говорит это. От лампы свет падает сзади ее, и она в тени. Может быть, это помогает ей?.. Но он видит, что она пропустила что-то, и добавляет:

- С букетом дешевого одеколона... На лице белила... Каблуки у нее высокие, стоптаны набок... обязательно стоптаны набок... внутрь...

Почему-то вдруг становится тоскливо, робко. Лидочка берет в руку его жетон из училища. Рука у нее небольшая, белая; суставов на пальцах не видно, только ямочки.

Теперь она еще ближе к нему. Теперь от нее к нему перебралась горячая сплошная сетка желаний и жжет.

- Вы - хороший... вы - умный... - говорит она, наклоняясь: голос у нее стал тверже, точно сквозь него прошел металлический стержень. - Вы - один... за вами ходить некому... Ну, кто у вас позаботится? Денщик?.. Разве не надоело вам: все один, все один...

Нужно взять ее... Нужно обхватить ее руками там, где она ближе всего к рукам, - в перегибе тела.

Глаза ее стали мутными - желтых блесков нет. Развилась и легла почти прямо одна прядка волос на лбу... У него в голове сплошной гул, точно звонят там в колокол.

Стукнул вдруг кто-то дверью из кухни - должно быть, кухарка. Кашлянул... Поднялась одна кошка, посмотрела жмурыми глазами, потянулась, задрала хвост, прыгнула на пол. Точно мяч упал. За ней другая - Милка, Мурка - нельзя было различить: все были белые, ленивые, с сонными глазами.

Руки его тяжелеют вдруг - невозможно поднять. Что-то поднялось в мозгу холодное, как сталь на морозе, и захотелось на улицу и чтобы иней падал с деревьев.

Встал со стула.

Голова ее прилась вровень с его плечом. Кофточка на ней была широкая; она расплескалась в ней, как в ванне. Будет сидеть в ней год, два, десять лет... Три кошки будут спать на диване: Мурка, Милка и Мунька...

А те, на улицах, все ходят, ищут... все новые, веселые, без будущего, без прошлого - один вечер...

- И каблуки у них стоптаны внутрь... - говорит он вслух и потом повторяет, точно читает стих: - И - каблуки - у них стоптаны внутрь...

У Лидочки растерянное лицо. Что-то было натянуто, но вдруг оборвалось, и нельзя найти концов, чтобы завязать снова.

- За то, что вы жалуете меня, - благодарен, - говорит, улыбаясь, Бабаев. - Совет ваш выполняю, женюсь... э, что там! - И добавляет тихо: - На одной из тех... с каблуками...

Хочется ему рассмеяться, чтобы это было еще обидней, но он уже не знает, зачем.

Две Милки трутся около ног и мурлычут.

- Так зачем же вы шляетесь сюда, зачем? - визгливо вскрикивает Лидочка.

"Как торговка!" - думает Бабаев.

Он ждал этого, и ему приятно, что она кричит. На лоб ее выбились еще какие-

то ненужные, незавитые пряди, от этого у нее совсем семейный встрепанный вид.

Вытягивается перед глазами длинная улица с желтыми фонарями; деревья над головой синие, цвета индиго; с них падает иней то хлопьями, то мелкими тонкими кристалликами, точно сетка мреет. Чувствуется густой пахучий воздух - свежий, льдистый.

- Шлялись... торчали... Делали скучные мины!.. Зачем таскались? кричит Лидочка.

Он курит и старается выпускать дым так, чтобы закрыть ее лицо. Но оно проступает - красное, пухлое, жалкое.

- Пили... ели... Слушали, как я играю!.. Зачем слушали? - в тон ей кричит Бабаев.

Из кухни слышно, как жарится и шипит лук. Две кошки улеглись на ковре и играют; одна все хочет схватить другую за кончик хвоста и не может. Третья заботливо мочет морду лапкой: гости.

У протертого дивана, большого шкафа и зеркала есть тоже какая-то своя тихая жизнь, должно быть, вся из мутных воспоминаний, как у очень старых людей. А кресла в чехлах даже похожи на смиренных старушек, у которых на головах белые чепчики и на плечах шали.

Он бросает папиросу и идет одеваться. Ему кажется, что где-то около должно стоять ведро с помоями, и в полутьме прихожей можно наткнуться на него, свалить, разлить по полу. Окружил противный запах жареного лука.

- Ужинать не останетесь? - спрашивает Лидочка.

Он глядит улыбаясь: ему странно, что у нее такой озабоченный, домовитый вид.

Но она выходит за ним к двери и шепчет:

- Милый... Хороший! Вы не сердитесь? Вы никому не скажете? Вы придете?

Рука ее, такая горячая, мягкая, так долго не хочет выпускать его руку и опять те же просящие, стыдливые блески в карих глазах, и скромны и далеки кружевные нашивки над грудью.

У

Снег падал и застывал на земле. Шаги пели. Бабаев слушал их, вдыхал холод, думал о том, что есть в его душе одно могучее, и это могучее жадность... Припасть сразу ко всем ключам жизни и выпить... Жизнь! Пронеслась она звучная, сверкающая, знойная, с бездонными провалами восторга и страдания, с падениями и подъемами... где пронеслась?

Тянулась из-под ног вперед и назад улица, мутная вблизи, черная вдали, проколота насквозь фонарями, а там, за улицей, лежало снежное поле. Тихо было здесь, около, а там еще тише, впереди и сзади.

Сбор пустынности вырос и закрутился со всех сторон. Лидочка Канелли мелькнула с распущенной прядкой волос - мелькнула, как стена, и пропала.

У невысоких домов был стерегуший вид, как у старых мышеловок. Были они пятнисты от снега, и оттого, что были пятнисты, казались еще подлее и гаже. Кое-где сочился желтенький свет из щелей ставней.

Тявкнула собачонка, точно вздрогнула, испугавшись. Вышел из-за угла ночной сторож в высоком тулупе. Черная, очень скучная, длинная тень от него по-

ползла, как змея, через улицу в кучу тесных домов спрятаться там от беспокойного света фонаря. Сторож посмотрел на Бабаева одним, чуть видным сквозь воротник тулупа, скользящим глазом. Бабаев чуть посмотрел на сторожа и прошел мимо, только почему-то более четко и звонко взял шаг и поднял голову.

Снежная сетка реяла и плыла впереди. Вырываясь из темноты, снежинки тоскливо кружились, как слепые мотыльки, около огоньков улицы, и было страшно Бабаеву, что чего-то нет, нет и нет...

Последний домишко улицы, темный, с насуспенной камышовой крышей, был особенно выпукло ясен, потому что был одинок. За ним серело поле.

Стало видно вдруг, что есть в небе луна, за каким-то мутным руном облаков, оконченная, навеки притянутая к земле луна, остановилась, как испуганный глаз, и светит.

Около ног на дороге комья снега были, как камни, строги в линиях, и сколько ни шел вперед Бабаев - все под ногами внизу лежали комья снега, как камни.

А вправо и влево дымилось поле, и где-то очень далеко, под тем местом, где разорвались облака в небе, легла на снегу белая яркая полоса, ненужная и немного жуткая, которую хотелось затереть, чтобы не видеть.

- Господи! - сказал, вдруг остановившись, Бабаев. В этом слове было для него что-то глубоко детское: не молитва, и не удивление, и не просьба. В этом слове было то, чего нельзя было вложить во все остальные слова, взятые вместе, то, для чего не придумано еще слова, равного по силе.

Поле окружило Бабаева и лежало тихое и холодное. В этом поле, широком и ровном, он был один. То, что осталось в городе, спало там вялое, лишенное прикосков, как полотнощие дыма после пожара; то, что было здесь, взметнуло пугово в вышину и ширину и застыло, распластав крылья.

Пусто стало, как в церкви.

Бабаев вспомнил, как он молился в детстве. Ушел в дальний угол, где около черной иконы горела одна свеча. Была всеобщая. Пели что-то. Он стоял на коленях, не сводил глаз с узкого черного лика и говорил с ним. Детский язык был прост и целен. Он спрашивал, и лик отвечал. И то, что пели, читали, ходили около, не мешало ему слушать склоненную темную голову, выступавшую сквозь серебро ризы. Она пришла откуда-то из стены, прильнула к амбразуре рамы и так внятно и просто отвечала, что все хотелось спрашивать и слушать.

Не чувствовал, как немели колени, и, когда кончилась служба и затопали бесстыдно громко уходившие ноги, подошел человек с серой бородою и потушил свечу. Черный лик потух и исчез, слился с полумраком, растворился в нем, нельзя было рассмотреть.

Так совершенно было одно из первых насилий над ним, и тайной остались навсегда в памяти серая длинная борода и яркий глаз под жесткой бровью.

Снежное поле лежало серое, как эта борода; яркая белая полоса вдали глянула на него ощутительно и холодно, сверху вниз, как стеклянный глаз.

Бабаеву стало вдруг смешно этого поля, неба, дороги с четкими комьями снега, себя самого, того, что сказал он "господи!" там, где все было мелко, где не было ни подвига, ни веселья, ни красоты, там, где некому было молиться и не о чем молиться.

Изо рта жены псаломщика пахло вареным мясом.

Она стояла у калитки. Ждала, когда он придет. Серела мутным пятном в

своим теплом платке, пропитанном самоварным чадом.

Когда подошел он, тихо, радостно вскрикнула, не хотела впускать его, жалась к нему высоким животом, плакала почему-то.

- Сергей Ильич! Вы то подумайте, как я теперь буду? - говорила сквозь слезы.

- Что как?

- Вдруг он выйдет на вас похожий, что я тогда?

- Ну, выйдет и выйдет! - досадливо отмахивался он.

Она тянулась поцеловать его в губы и попадала в мокрый от снега подбородок.

Странно было. Что стояла ночь, что дом глядел на улицу сквозь спущенные веки ставней, что около калитки серела рыхлая мягкая женщина, говорила что-то, - все это вдруг перестало быть понятным, живым, осязаемым; проходило как-то около, совсем близко, но не касалось мозга, как что-то необходимое, привычное, - глоток воздуха, посылаемый за прежним глотком.

Как будто кто-то сзади, тоном нелюбимого учителя объяснял: "Вот это дом, потому что имеет стены, крышу и трубы; ставни в нем закрыты, потому что ночь; падает снег, потому что зима; у калитки стоит женщина и плачет, потому что женщины, у которых высокий живот, всегда плачут".

- Где Потап Матвеевич? - спросил о псаломщике Бабаев.

- Пьянствует где-нибудь, где же больше? - ответила она.

И это было как-то необходимо, чтобы теперь, в эту серую ночь, пьянствовал где-то псаломщик, неуклюжий плотный человек с ржыми усами.

На хозяйской половине на столе чадил и шипел самовар; давно он был поставлен, еще с обеда, и все доливался водой и догревался. Если бы он заговорил вдруг, с какой бы желчью сказал он, как ему надоело.

Бабаев смотрел на молодое, в пятнах, лицо, и не мог понять, почему эта чужая ему женщина, некрасивая, ненужная ему, носит вот теперь в себе его ребенка.

Хотелось бы смеяться, но это не было смешно, это было жутко: чужая, ненужная, ничем не похожая на него, носит где-то в себе, внутри, огромную часть его самого, его ребенка, его будущее, его бесконечность.

Он смотрел на нее, не понимая, а у нее теперь было хлопотливое, довольное, счастливое лицо, струилось, как пар от самовара, обволакивало его стыдливой, покорной лаской. Глаза стали даже тонкими, полными...

Часы тикали коротко и строго. Мгновенья отбрасывались от них, прямые и видные, влево и вправо по обоям с синими цветочками.

На стене, над большой кроватью с горой измятых подушек, скакал куда-то красный генерал в пухлых эполетах, все куда-то скакал, победно косясь на Бабаева, и указывал куда-то шашкой.

Пол в комнате Бабаева был желтый, стены - белые. Оттого что на столе дрожало пламя свечки, по стенам прыгала его иссиня-черная тень, и слабо колыхалась тень денщика Гудкова, пришедшего снимать с него тугие сапоги на ночь. Каждую ночь входил, прикрывая зевоту рукою, и снимал с него тугие сапоги, такие же, как у всех в полку.

- Ты спал, что ли? - спросил его Бабаев.

- Я-то? Так точно, - ответил Гудков. - Ночь на дворе.

- Ты и днем спишь... Ты страшно много спишь - ты знаешь?